

Донские рассказы. Судьба человека (сборник)

Автор:

Михаил Шолохов

Донские рассказы. Судьба человека (сборник)

Михаил Александрович Шолохов

Школьная библиотека (Детская литература)

В книгу вошли избранные рассказы и повесть донского цикла, а также рассказ «Судьба человека» известного русского писателя Михаила Александровича Шолохова.

Для старшего школьного возраста.

Михаил Шолохов

Донские рассказы. Судьба человека. Рассказы и повесть

Художники И. Годин, О. Верейский

Вступительная статья

Н. ФЕДЯ

Судьбы высокий дар

Родословная Шолохова уходит в даль веков и теряется в дымке легенд и полудостоверных сказаний.

Предки Михаила Александровича Шолохова – уроженцы Зарайского уезда Рязанской губернии – земли русской, из которой издревле торилась тропинка к Дону. Первое упоминание о Шолоховых относится к 1715 году. В Пушкарской слободе Зарайского кремля жили Зеновьевы, Кобызевы, Бочаровы, Максины, Лежневы, Дремины, Федоровы, Нефедовы, Щербаковы и Шолоховы: Осип Фирсович, Иван Фирсович, Сергей Фирсович и Василий Фирсович. По плану реконструкции слободы на 1715 год, составленному В. И. Полянчевым, предки писателя поселились здесь около 1687 года.

В Пушкарской слободе насчитывалось двенадцать дворов. Если стать лицом на север, можно определить расположение жительства предков Михаила Александровича. Итак, прямо перед нами будет лестница на крепостную стену, слева – Стрелецкая слобода (место проживания стрельцов), справа – слобода Пушкарская. Тут в самом крайнем доме жили пушкар Сергей Фирсович и Василий Фирсович Шолоховы, прапрадеды Михаила Александровича. А напротив и чуть налево от их дома – роща Свинушка со Святым Колодцем, рядом с ней находится старообрядческое кладбище, где покоится прах зарайских Шолоховых и единоверческая церковь.

Здесь корни фамильного дерева писателя.

Изменился Зарайск вместе со своими обитателями. Род Шолоховых-пушкарей пополнился купцами, прасолами, бедными мещанами и предпринимателями средней руки. Разбрелись по белому свету потомки доблестных пушкарей, среди которых были и ратоборцы, и горькие неудачники, и умельцы, и буйные головы, и талантливые мечтатели. Михаил Иванович, прадед писателя, не отличался ни здоровьем, ни удачей. Его единственный сын, Михаил Михайлович, с юных лет метался в поисках заработка. Нужда гнала его с одного места на другое. Так он попал на Дон, где нашел работу, а вскоре перевез сюда семью: жену и двух

сыновей – Николая и Александра. Поселился дед писателя на хуторе Кружилине. И началось житье-бытье на Донщине.

Сам Михаил Александрович мало говорил о своих предках. Об отце писателя, Александре Михайловиче, известно, что он родился в Зарайском уезде Рязанской губернии, выходец из мещан, русский, окончил приходское училище. В 1931 году Шолохов писал: «Отец – разночинец, выходец из Рязанской губернии, до самой смерти (1925 год) менял профессии. Был последовательно „шибаем“ (скупщиком скота), сеял хлеб на покупной казачьей земле, служил приказчиком в коммерческом предприятии хуторского масштаба, управляющим паровой мельницы и т. д.».

Шолохов навсегда связал свою жизнь со станицей Вёшенской. Он гордился тем, что родился, вырос и жил на Дону, среди казачества, которому обязан своим происхождением и легендарный Степан Разин, любимец всего славянского мира. Гордился Шолохов традициями, ратными подвигами и свободолюбием своих земляков. И есть чем гордиться. История донского казачества насчитывает пять веков, полных славных и трагических событий. В старину казачество являлось надежным оплотом российских государственных границ на Диком поле, в кавказских теснинах, в сибирских пространствах и проводником там русской власти. Казачья вольница доставляла немало хлопот Москве (центральному правительству) и даже вступала с ним в вооруженные столкновения. Но эта внутренняя междоусобица, вызванная кроме причин социально-экономических неумеренной централизацией сверху и неумеренным подчас свободолюбием снизу, не умаляет, однако, той важной исторической роли, которую сыграло казачество в формировании Российского государства.

Шолохову, которому исторические события, связанные с казачеством, были хорошо известны, потребовалось многое переосмыслить. Он рано понял, что социальная борьба более ожесточенная и беспощадная, чем война между государствами. Ибо классовая борьба не знает мира... А Шолохов был не только художником, но и аналитиком.

Тут впору сказать о его редкостном даровании.

Едва ли случайно, что мы почти ничего не знаем о внутренней, духовной жизни молодого Шолохова. Родился 24 мая 1905 года в хуторе Кружилинском станицы Вёшенской Донского округа. Детские годы прошли в хуторе Кружилинском. Окончил четыре класса гимназии. В декабре 1924 года опубликовал первое

художественное произведение – рассказ «Родинка», а через два года начинает писать большой роман. И до такой степени стремительно овладевает высотами художественного мастерства и неподражаемым искусством исторического анализа, что к сентябрю 1927 года была закончена первая, а к марту 1928-го – вторая книга бессмертного «Тихого Дона». Будто никем другим в жизни Шолохов не был, кроме как великим писателем.

Для многих поколений феномен Шолохова долго будет загадкой. Вот уже более полувека его творчество вызывает восхищение, потрясение и удивление: как, каким образом он, простолюдин, не имеющий систематического образования, сумел постичь диалектику природы и глубокий смысл трагических противоречий века; как мог он передать тончайшие движения человеческой души и открыть такие истины, которые, казалось, по плечу сонму ученых-историков, философов, психологов, а не одному человеку. Для тьмы завистников и дипломированных умников тут все ясно и просто: не может этого сделать человек с начальным образованием. Не может – и всё! Зачем им знать, что суть не в формальном образовании, а в той таинственной силе художественного таланта, который дарует ощущение жизни каждому событию, каждому лицу, каждому явлению, к которым прикасается мастер. В нем как бы спрессованы огромные богатства творческой фантазии, интеллектуальных способностей и интуиции. Шолохов в высшей степени обладал этим даром: видел внутренние связи между вещами и мгновенно постигал то, что другим давалось годами упорного труда, и то не в полной мере. Это особое свойство таланта: его глаза и ум с раннего детства впитывают мир как целое; целостность жизни осознается им без особых усилий – и оживает на страницах, в нотных знаках, на холсте, в камне.

* * *

Кто же оказал большое влияние на формирование сознания будущего писателя? В своей автобиографии 1931 года Михаил Александрович обронил фразу: «Мать... грамоте выучилась... для того, чтобы... самостоятельно писать мне письма». Многие писатели и критики восприняли это признание весьма упрощенно и стали в унисон твердить: главное влияние на формирование характера, личности, интересов и вкусов Шолохова оказала его мать. Это заблуждение. Конечно, сын унаследовал от матери многие черты, но дело в том, что по своему характеру Михаил Александрович мало походил на свою мать. При всей своей доброте и домовитости Анастасия Даниловна была женщиной строгой и властной. Сын же ее – человек веселого нрава, жизнерадостный, очень мягкий, чуткий к людям и удивительно тактичный. И любил он свою мать

самозабвенно... Все же духовно просветленное и интеллектуальное – от отца, это его влияние. Александр Михайлович был таким же отзывчивым, скромным, застенчивым, к тому же остроумным, умницей и книголюбом. Именно таким его знали и уважали во всей округе. Он хорошо разбирался в философии и любил русскую классическую литературу. В доме Александра Михайловича всегда были свежие газеты и журналы, хорошо подобранная библиотека. Есть все основания утверждать, что тяга к знаниям, интерес к искусству, то есть внутренний мир писателя, формировались под влиянием отца.

Уже в двенадцать лет Михаил любил рассуждать на философские темы. В довоенной библиотеке Михаила Шолохова были собрания трудов Канта, Шопенгауэра, Ницше, Спинозы в мягких обложках (приложения к журналу «Нива») и книги Гегеля – в коленкорном переплете с золотым тиснением. Часто он уединялся с томиком философа, погружаясь в беседу с ним.

Михаил Александрович научился читать с пяти лет и всю жизнь дружил с книгой. Читал очень много, интересы его были чрезвычайно широки – от исследований по космосу до книг по сельскому хозяйству. Естественно, прекрасно знал русскую и зарубежную классику. Память (а она у Шолохова была феноменальной и такой оставалась до последних дней!) накрепко сохранила массу эмоций, фактов, жизненных реалий, стихов самых разных поэтов. При желании он мог часами читать Бунина, Тютчева, Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Байрона, Шелли. Но никогда не старался блеснуть знаниями, хотя любил прочесть какое-нибудь стихотворение или подходящий к случаю отрывок из произведения любимшегося автора.

Шолохову было семнадцать лет, когда водоворот событий втянул его в свою бешеную круговерть. В первые месяцы 1922 года ситуация осложнилась, казаки начали оказывать сопротивление налоговой политике властей. В округ поступают сообщения об утаивании хлеба, о срыве выполнения сдачи налога и гибели налоговых инспекторов... Окончив подготовительные курсы, Михаил Шолохов приступил 17 мая к исполнению обязанностей проинспектора станицы Букановской. 31 августа 1922 года станичный налогоинспектор Михаил Шолохов был отстранен от занимаемой должности, в которой пребывал три с половиной месяца. На этом навсегда закончилась его карьера государственного служащего. Впоследствии он не смог достичь столь ответственных административных высот. Начался период поисков своего пути на ниве жизни, усеянной, кроме всего прочего, обломками иллюзий, замыслов и мечтаний...

Откуда черпал силы этот юноша, пробиваясь сквозь толстый слой материальных недостатков, ограниченных возможностей и высокомерия столичных интеллектуалов? Способен ли кто-нибудь после ледящих мозг и сердце потрясений, вызванных двумя смертными приговорами, сохранить присутствие духа, не утратить любовь к жизни, чувство доброты и восхищение красотой мироздания? Над всем этим впору задуматься. Не все тут лежит на поверхности, но без этого не уразуметь по-настоящему очарование и философскую глубину его творений. А какие внутренние терзания и боли должен преодолеть человек, видя торжество зла и несправедливости в окружающем мире! Как им противостоять и не дать заглушить природный дар, способный творить в недостижимой высоте поэтического вдохновения?

Не дай бог родиться такому человеку в годину смуты и не встретить родственную душу, преданное сердце... К счастью, судьба одарила Шолохова на всю жизнь великой радостью. В станице Букановской, в которой чуть не оборвалась его жизнь, он встретил в 1922 году Машу Громославскую, да на этом и закончилась его холостяцкая воля.

* * *

Литературно-общественная действительность первых послереволюционных лет – процесс сложный и противоречивый. Крупные события мировой истории находят свое отражение в многослойной структуре общественного бытия. Под влиянием социалистической революции произошли коренные сдвиги во всем мире, и, естественно, в сфере культуры. История развивается по своим собственным законам. Можно было защищать новый строй или бороться против него, проклинать, клеветать либо пытаться занять созерцательную, нейтральную позицию, но делать вид, что ничего не произошло, – этого никто не мог. События 1917 года обнажили все концы и начала, столкнули старое и новое, прогрессивное и реакционное, поставили общество (в том числе деятелей искусства и литературы) перед неизбежностью выбора: «за» или «против». В литературно-художественной среде произошел глубокий раскол: вчерашние друзья оказались по разные стороны баррикад.

Молодая литература заметно набирала высоту. Правда, в этот период она еще не избавилась от односторонности взгляда: в революции писатели видели только лишь героизм, в ее кровавой купели – храбрость, в жестокости – проявление пролетарского гуманизма. Часто личность, с ее страданиями, болью

и отчаянием, оставалась вне поля их интереса, а бедствия народа преподносились под знаком торжества классовых интересов. Повесть Федора Гладкова «Огненный конь» (1922) – один из примеров подобной литературы. Разрушения, смерть – вот предмет ее романтического пафоса. Большевику Никифору Гмыре, председателю ревкома, так представляется цель революции: «...Не к смерти идем путиной этой, а к жизни... К жизни через смерть... Через страдания и муки – к радости человеческой... Хорошо!.. Хорошо нести крест борьбы... муки революции... до власти на всей земле... Наша власть... власть труда! В огне – сила земли... в крови огнедышащей... И наш великий бунт в огне и крови...» Он так и поступает. Как и комиссар бронепоезда матрос Глоба: «...К делу, земнородный! Будем идти по путям, проложенным силой, стоящей выше нас... через кровь... через смерть... через трагедию... Отравить каждую клеточку мозга кровавой грязью. Пострадать, потрясти землю... и погибнуть...»

И таких сочинений было много. Дело, однако, не в количестве, а в тенденции, которая угрожающе крепла. Бесспорно, трудное было время, со всех сторон охваченное пламенем революции. Нелегко было писателю разобраться в клубке дьявольски запутанных событий. Наиболее талантливые вышли из горнила революции чистыми и честными, но что-то утратили от душевной теплоты, от глубокого взгляда на действительность. И было бы неверно слишком строго судить их искренние заблуждения и замедленное восприятие новых начал жизни.

Постепенно намечался перелом в художественном методе литературы. Первые значительные изменения происходят после «Сорок первого» Бориса Лавренева, романа Александра Серафимовича «Железный поток» и рассказов Михаила Шолохова («Чужая кровь», «Лазоревая степь»). Они не только отражают сложные противоречия своего времени, но и как бы разрывают замкнутый круг личной вины каждого за царящие вокруг насилие и произвол и рассматривают человека в широком плане: в связях с обществом, в мечтах о мирном труде, в интимных рамках, горестях, то есть в тех формах бытия, которые формируют сознание и определяют действия личности. Они проникнуты жизнеутверждением, полны напряженных исканий. Человеку, показывают они, осточертела вся эта затянувшаяся кровавая игра в «революционную романтику», и он потянулся к мечте и земле, к станку, к книге.

Москва помогла Шолохову окончательно уверовать в свои силы, в свой собственный путь в литературе, в свой талант. Спасибо столице за науку! В послужном списке Шолохов писал: «С 10.1922 по 3.1923 – Москва, артель

каменщиков; с августа 1923 года по май 1924 года – счетовод московского жилищного управления № 803...» В мае 1924 года, отпраздновав в столице свой день рождения, он возвращается с Машей на Дон, в станицу Вёшенскую. Поначалу они живут у родителей в Букановской и Каргинской.

Вот и кончилось унаследованное от отца желание к постоянной перемене профессий. Михаил Шолохов выбирает литературу.

Природа щедро одарила его поэтическим дарованием, к тому же он рано понял, как сложна и тяжела жизнь людей, и ему хотелось облегчить их судьбу своим творчеством. По приезде на Дон в 1924 году он уже ни о чем больше и не помышляет. Устанавливается строгий распорядок рабочего времени: писал до поздней ночи, просыпался по-крестьянски рано – вместе с солнцем. В дни поездки на рыбалку или охоту – раньше. В семь утра – завтрак, в тринадцать часов – обед, в семнадцать – чай и в девятнадцать – ужин. Если засиживался за рабочим столом до четырех-пяти часов утра, все равно к семи был на ногах и садился завтракать. (После контузии в войну режим изменился.) В краткий срок он пишет книгу рассказов, вынашивает план большого романа.

В 1924–1925 годы (до начала работы над «Тихим Доном») Шолохов напишет двадцать один (из общего количества 25) рассказ и повесть («Путь-дороженька»).

Рассказы публикуются в газете «Молодой ленинец», альманахе «Молодость», в журналах «Огонек», «Прожектор», «Крестьянский журнал», «Смена», «Комсомолия», «Журнал крестьянская молодежь». Добавим, что рассказы выходят и отдельными изданиями в Госиздате, «Новой Москве», «Московском товариществе писателей», «Земле и фабрике», «Молодой гвардии», «Доне» (Сталинград), в «Библиотеке батрака» (приложение к газете «Батрак») и т. д. В 1926 году были напечатаны два сборника – «Донские рассказы» и «Лазоревая степь». Интересно, что из двадцати рассказов, вошедших в эти сборники, четырнадцать были опубликованы в 1925-м и лишь шесть в начале 1926 года. «Жеребенок», «О Колчаке, крапиве и прочем» в сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» не включались. «Ветер», «Мягкотелый», «Один язык» выходили только в журналах, а рассказ «Обида», написанный в 1925–1926 годах, впервые опубликован в 1962 году. После публикации в 1931 году книги «Лазоревая степь. Донские рассказы. 1923–1925» ранние произведения Шолохова не переиздавались. И только двадцать пять лет спустя они были включены в первый том первого собрания сочинений.

Первые рассказы Шолохова как бы принадлежат сразу двум сферам, двум началам – воображаемому, измышленному и реальному. Иногда кажется, что юный автор медлит на пограничье. Память зовет в колыбельное лоно суровой действительности с ее жестокими законами, а предчувствие – к человеческой сущности: доброте, сочувствию, искренности. Не поэтому ли во всем облике героев рассказов чувствуется внутренняя противоречивость, по тем временам кажущаяся даже абсурдностью, некоей недосказанностью. Перо писателя наметило главное, сторонясь второстепенного – подробностей и деталей. Поэтому многое кажется сработанным наспех, непрочно.

Человеческая простота героев покоряет своей свежестью и жизненностью. Перо скользит легко и быстро. Отсюда – столь незамысловатые, но такие убедительные образы, а некоторые как бы изваяны с языческой смелостью. Так и хочется назвать их куском первозданной природы, точнее, ее пробной моделью.

Будто впервые осуществился принцип искусства. Впервые – этим все сказано и все оправдано. Вот почему в некоторых образах рассказов не всегда можно отыскать внутреннюю глубину, отточенность и завершенность. Главное – выразить сущность, пока важна суть, родившаяся мысль и память.

Но вот что знаменательно: в этих рассказах заявлен новый взгляд – главное в жизни: человечность, доброта, а не классовая жестокость и ненависть. По тем временам это было явное отступление, отход от складывающейся литературной традиции. В рассказах Шолохова (особенно 1925–1926 годов) чувствуется дыхание здоровой жизни, с их страниц встает настоящий человек и заявляет о своем праве созидать, творить добро, чувствовать и любить.

Разумеется, автор рассказов не мог (да и не хотел!) избежать показа яростного противостояния двух сил, изображения революции разрушающей и революции защищающей и людей в этой страшной коловерти, где уже невозможно было определить, кто прав, а кто виноват. Однако ему абсолютно чужда поэтизация жесточайшей и небывалой борьбы не на жизнь, а на смерть, которой – увы! – отдали дань солидные, скажем так, литераторы. Характерно, что шолоховские персонажи исходят в своих поступках из конкретных обстоятельств, а не из абстрактной идеи, даже если эти поступки направлены против жизни человека. Бодягин выносит отцу смертный приговор за саботаж и идет на смерть, спасая мальчонку («Продкомиссар»); Шибалок казнит свою фронтовую подругу, повинную в гибели отряда, и спасает ребенка; беспощадный к бандитам батрак

Алешка лег животом на гранату, когда из осажденного дома, где засели враги, вышла женщина с ребенком... Люди измучены бедами и ожесточены (со страниц рассказов как бы стекает кровь), но там, в глубинах их сердец, лазоревым цветом полыхает нежность и не угасает вера.

Бесспорно, столь глубокий и бесстрашный взгляд на жизнь во многом обусловлен личной судьбой самого рассказчика.

Не следует забывать, что начало творчества Шолохова совпало с переходным периодом, с эпохой ухода с исторической арены одного государственного строя и утверждением другого, оказавшего беспорное воздействие на весь дальнейший ход мирового развития. Переходный период в России отличался исключительной насыщенностью грозными и непредсказуемыми событиями и давал бездну материала для размышлений и художественного анализа. Шолохов один из немногих понял и сердцем художника почувствовал всю глубину трагедии России. Где выход? Однозначного ответа не было, да и быть не могло. Писатель возлагал надежды прежде всего на инстинкт самосохранения народа, на созидательное начало как главный признак здоровья нации. В этом пафос его нового произведения. Рассказ «Чужая кровь» (1926) не уступает знаменитой «Судьбе человека» (1956) ни по выражению небывалого душевного напряжения, ни по высоким порывам духа и сохранению эпического отношения к окружающему миру, а по силе внутренней энергии и свежести восприятия природы, дохнувшей горьким запахом полыни, кажется, превосходит его. Но таков удел талантливой вещи («Чужая кровь»), заслоненной гениальным произведением («Тихий Дон»). Как любой шедевр, «Чужая кровь» заключает в себе некую тайну, высокое напряжение чувства и мысли, не поддающихся прямому истолкованию и комментированию. Даже проникнув в святая святых творческой лаборатории художника, серьезный исследователь останавливается потрясенный и озадаченный: сам художник оказывается бессилён объяснить многие свои творческие секреты... В рассказе идет борьба между жизнью и смертью, светом и тьмой, а светлое человеческое начало, как весеннее половодье, сметает на своем пути идеологические догмы и жесткие классовые установки. Но как дорого приходится платить человеку за все в этом мире!

Рассказы Шолохова критика поначалу оценила положительно. В общем благосклонно был встречен первый сборник «Донские рассказы» (январь 1926 года), а также второй – «Лазоревая степь» (конец 1926 года).

Но уже к концу 1920-х годов отношение литературной критики к молодому писателю резко меняется: тон и характер рецензий на его произведения становятся все более придирчивыми, жесткими. Под прицельный огонь попали и тематика рассказов, и творческий метод, и (что было отнюдь не безопасно по тем временам) идейная позиция автора. Шолохова обвиняли в «натурализме», «схематичности», «биологизме» и в отклонении от пролетарской литературы, а сверх того, объявили «колеблющимся середняком» и «мелкобуржуазным гуманистом».

Бесспорно, природа этих нападок состоит не только в распространенном инстинктивном неприятии нового яркого дарования, но и в раздражающей интернационально мыслящих интеллигентов русскости писателя. Национальное, народное были его первородными чертами, сутью таланта.

Шолохов, может быть, ближе всех подошел к воссозданию народной жизни, ибо не только обладал интуицией гениального художника, но и являлся выходцем из народной гущи и всю свою жизнь не порывал с языком, мышлением, чувствованиями и миропониманием родной среды. К тому же он представитель и выразитель земледельческой культуры – той культуры, которая лежит в основе всего великого, что создано человечеством на ниве искусства и изящной словесности.

Писатель говорил от имени народа, его устами. Отсюда могучая сила слова и эстетическая многомерность образов его лучших произведений. Только по таким признакам можно уверенно судить о принадлежности писателя к культуре того или иного народа. Только это дает ему право на титул национального художника.

* * *

Было бы большой натяжкой рассматривать творчество Шолохова как сложившееся раз и навсегда и лишенное развития, изменений. Художнику были чужды стремительные переходы, резкие скачки и признание двойственности художественной правды. Ему присущ историзм мышления. Обладая совершенно новым художественным мировоззрением, новым пониманием роли литературы в жизни общества, Шолохов отразил переходные стадии общества, историческую судьбу России.

В пору продолжения работы над романом «Они сражались за Родину» и раздумий над второй книгой «Поднятой целины» художник создает рассказ «Судьба человека» (1956), которому суждено занять особое место в его творческой биографии. Тут мы сталкиваемся с новым оттенком социальной заостренности и освещением военной темы, открывшим перед литературой широкую перспективу осмысления действительности, а именно: какие проблемы встали перед страной в мирные дни и что сулит народу победа, стоившая ему неслыханных бед, великих страданий и неисчислимых жертв?

Примечательно, что в рассказе почти полностью отсутствует пафос и возвышенная героика, столь характерные для литературы о войне. Шолохов исключает расхожее внешнее правдоподобие во имя высокой правды, коей он был всегда верен. Стало быть, речь идет о зрелом взгляде на состояние мира, нуждающегося в сочувствии и милосердии. Не случайно все внимание художника сосредоточено на раскрытии образа прекрасного человека, превозмогшего «военный ураган невиданной силы», но оказавшегося обреченным на неприкаянность и одиночество.

Заслуживает внимания сам факт обращения художника к малому жанру, в котором он блистал тридцать лет тому назад. К тому же он сознательно («чтобы проверить себя») использовал самую трудную форму – рассказ от первого лица.

Рассказ – трудный жанр, мастерство рассказа очень сложно, да и от читателя он требует внимательного, вдумчивого и медленного чтения. Как справедливо замечено, рассказ подлинного мастера не забава на досуге, а «чрезвычайное происшествие» в жизни читателя» (Б. Ларин). В истории мировой литературы множество прославленных романистов, но едва ли наберется полтора десятка крупных мастеров рассказа.

Последний рассказ Шолохова при наличии ряда черт, присущих малому жанру, отличается несомненными новаторскими качествами. Классическая строгость композиции, суровый лаконизм и напряженность фабулы сочетаются здесь с эпикой и трагедийностью, ранее несвойственными малой форме. Впечатление усиливается взволнованностью автора и цельностью образа главного героя. Рассказ, кажется, не сочинен, а как бы вырос из жестокой действительности, в эпицентре которой оказался Андрей Соколов.

Тридцать первого декабря 1956-го и первого января 1957 года «Судьба человека» увидела свет на страницах «Правды».

Начало рассказа выдержано в эпическом тоне. Автор бесстрастно-спокойно описывает распутицу, усталость лошадей, ветхую лодчонку, на которой путники переправляются через речку, наконец, весенний день. «Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны». И хрустально поблескивающий на солнце ледок, и сиреневая дымка тумана, и извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли – все, казалось, располагало к безмятежной созерцательности и покою: «Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы (разложенные на поваленном плетне. – Н. Ф.) скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покоряясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками». Из-за крайних дворов хутора показались мужчина с мальчиком лет пяти-шести. Они устало брели к переправе, но, поравнявшись с автором, направились к нему.

Спокойный тон повествования резко обрывается, как только подошедший Андрей Соколов заговорил о своей жизни. Полна скорби исповедь этого человека.

«Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: „За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?“ Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь!» И далее: «Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: „Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?“»

В самом деле, Соколов изведal все ужасы войны. Как только пережил он фашистский плен? Побои, унижения, холод, постоянная угроза жизни: чуть не загрызли немецкие овчарки, едва избежал голодной смерти, случайно не был убит пьяным лагерфюрером Мюллером. «Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время... Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били Богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом,

какое под руку попадет, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты русский, за то, что на белый свет еще смотришь... Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься... <...> И кормили везде как есть одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток – где давали, а где нет. <...> А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не впору».

После побега из плена новое несчастье – весть из Воронежа о гибели жены и дочек от немецкой бомбы, а вскоре – гибель сына: «Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер...<...> Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и будто что-то во мне оборвалось...»

Вот он, Андрей Соколов, после всего пережитого: «Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника». В другом месте: «...но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы...» Эта его невыразимая усталость и отрешенность передают накопившиеся за долгие годы страдание и боль, которые уже и не могут иначе проявиться как в скорбном выражении словно бы потухших глаз. На протяжении всего рассказа будет слышаться голос Соколова, приглушенный и печальный.

Чтобы получить более четкое представление об образе Соколова, следует коснуться еще одного штриха его биографии. «А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я – за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть – они уходят от меня, будто тают на глазах...»

Кроме немецкой каторги, смертей всех близких, подорванного здоровья и одиночества судьбе было угодно еще раз больно ударить Соколова. О его беде,

связанной с колючей проволокой, следует сказать особо. Часто повторяющийся сон, где он за колючей проволокой, связан с послевоенной реальностью, и, может быть, самой жестокой и унижительной для него, хотя об этом ни герой, ни автор не обмолвились ни единым словом. Как помним, Соколов оказался в плену в первые месяцы войны и, по существующему тогда законодательству, попал в разряд военных преступников, в частности за сдачу в плен. Считалось, если советский воин оказался в плену – значит, он нарушил воинскую присягу, перешел на сторону врага. Как и почему это произошло, практически никого не интересовало. Изменником Родины признавался не только сам военнослужащий, подвергавшийся суровому наказанию, но автоматически становились преступниками все совершеннолетние члены его семьи, и на них распространялись довольно серьезные репрессивные меры. Их, согласно требованию уголовного закона, лишали избирательных прав и ссылали в отдаленные районы Сибири сроком на пять лет.

Так Шолохов создал одно из наиболее трагических произведений второй половины XX века, воплотив глубокую скорбь и тоску в образе, полном сдержанности и внутреннего благородства.

* * *

Художественная истина лежит за пределами индивидуального, она нечто высокое и порой, кажется, соприкасается с вечностью. Настоящее искусство – это философия возникающих и исчезающих и снова возникающих смыслов и форм. Великий художник находит истину всюду: в жизни и в природе, в человеке, в сфере трагического и комического. Все человеческое не чуждо ему: радость, надежда, страдание, боль и гнев.

Что есть Шолохов по отношению к русской классике, пленяющей ученой утонченностью Карамзина, великолепием стиля и чеканки образов Пушкина и Лермонтова, спокойным созерцанием бытия Льва Толстого, таинственностью пророческого дара Гоголя и Достоевского? И уступает ли он классике по мастерству, глубине изображения народного характера и постижения философии бытия? Вряд ли корректно давать однозначные ответы на эти вопросы. Перед нами разные эпохи, разные художественные миры и масштабы дарований. Однако же культура – это непрерывный процесс, в основе которого лежат коренные проблемы исторической жизни нации. Классическая русская литература от Карамзина до Шолохова была учебником жизни, неподкупным

судьей истории и современности; у нее всегда была четкая система идеалов правды и человечности при безусловной ориентации на судьбу народную.

Но лишь один Шолохов умел взглянуть на состояние мира с точки зрения широких масс и придать своим творениям, исполненным сознания трагичности народной судьбы, поразительную эмоциональную силу и социальную глубину. От книги к книге «Тихого Дона» совершенствуется анализ противоречия между высоким назначением человека и жестокостью бытия, между его идеалами и грубой реальностью. Вместе с тем возрастают масштабы характеров из народа, усиливается контраст добра и зла, света и тьмы. Такова логика истории, подчеркивает художник, – в периоды крутых общественных изменений человека ожидает несравненно больше потерь, чем обретений. На всех этапах великих потрясений лежит клеймо проклятий и тотальных разрушений. Отсюда «безжалостность» в показе человеческих страданий и бед; отсюда же нарастание напряженности противостояния борющихся сторон, смута и кровь, которой подписываются идеи революции.

Чудовищного размаха всемирно-исторические катаклизмы в России в начале века вовлекли в свою орбиту огромные массы. Новая историческая ситуация коренным образом изменила отношение художника к человеку, то есть «новая человеческая порода» (А. Блок) потребовала нового к себе отношения. Творчество Шолохова отвечало этим историческим требованиям. В произведениях писателя заговорил сам народ – и его услышал весь мир.

Шолохов первый в русской литературе XX века открыто заговорил о милосердии и прощении. Люди должны научиться прощать, ибо они сами нуждаются в сочувствии и прощении, постоянно напоминает он. Вообще прощение является одним из сквозных мотивов творчества Шолохова, начиная с ранних рассказов, через «Тихий Дон» вплоть до «Судьбы человека» (1956) и неоконченного романа «Они сражались за Родину».

Как любой великий художник, Шолохов – явление весьма сложное, неповторимое, таящее в себе множество загадок. Поэтому судить о нем по правилам общепринятых эстетических теорий – праздное занятие. «Я до чертиков люблю Дон, весь этот старый, веками складывавшийся уклад казачьей жизни! – восклицал он. – Люблю казаков своих, казачек – все люблю! От запаха степного полынка мне хочется плакать...»

Шолохов – многомыслен. Он явился воплощением чувств, мыслей и чаяний целой нации.

Шолохов писал о России, о жизни народа, о его думах и страданиях, и его, художника, мировосприятие совпало с мировосприятием широких масс. Это открыло для литературы совершенно новые возможности показа человека во взаимодействии с обществом и природой.

В изображении Шолохова народный характер представляет собой синтез устойчивых национальных признаков. В принципе его идеал не прекрасный человек вообще, а русский человек как средоточие высоких духовных и моральных качеств, проявившихся в конкретных исторических условиях.

Окружающий мир он изображает через живой язык, и прежде всего через язык русского крестьянства, издревле отличавшийся напевным ритмическим строем и ладом. Отсюда – богатство сравнений, употреблений, поэтических ассоциаций. Языковое своеобразие, образное цветение, весь аромат речи Шолохова невозможно передать обыденными словами, точно так же как картину, созданную кистью живописца, не дано переложить на язык иного вида искусства. Что может сравниться с волшебной силой шолоховского слова, когда он передает движение, богатство звуковой и цветовой гаммы природы – смену дня и ночи, наступление сумерек зимой, весной, летом, осенью, смену времен года, – а равно состояние радости, чувство страха, волнение души, тона и полутона психологических состояний героев!

Тут вступает в силу просторечие с его яркими смысловыми нюансами, с его веселыми интонациями, придающими и отдельному слову, и целой фразе неповторимую прелесть. Это язык тех, кто всю свою жизнь говорил и мыслил по-русски, чей слог и склад обогащал и обогащает живую речь, которая иными сопровождается пренебрежительно-высокомерным примечанием: «просторечие», «областничество». А не подобное ли просторечие-областничество помогло гению Пушкина, Гоголя, Лескова и Льва Толстого достичь блистательных художественных вершин? Не просторечие-областничество ли с его многообразными свободными формами выражения любой мысли подпитывает и развивает великий русский язык, по словам Тургенева? Такую же роль сыграло «областничество» в творческой судьбе Михаила Шолохова.

Отголоски русской классики чувствуются в творчестве художника. Шолохов высоко ценил подлинных мастеров, ему предшествовавших, но шел своей дорогой. По глубине проникновения в таинства природы, по силе и пронзительности ощущения трагичности состояния мира, настоящего и грядущего России – Шолохову нет равных. Его мир насыщен драматическими противоречиями, отчаянием, болью, обрушивающимися на героев, чья жизнь – в противовес природе, способной к самовозрождению, – кончается трагически. Мировая гармония и хаос – это противоречия реальности, порождающей ужасающие терзания духа.

Могучий инстинкт художника подсказал, что народ склонен видеть в искусстве жизнь, как она есть, то есть со всеми ее светлыми и темными, радостными и печальными, комическими и трагическими сторонами. Кажется, невозможно понятнее разговаривать с людьми на языке литературы.

Гений – это народ, воплощенный в конкретной личности. Вот ключ к разгадке феномена Шолохова.

Н. Федь

Донские рассказы

Родинка

I

На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир

эскадрона, сидит. Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе, – анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупно рассказывает: Кошевой Николай. Командир эскадрона. Землероб. Член РКСМ.

Против графы «возраст» карандаш медленно выводит: 18 лет.

Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая.

– Мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая, – говорят шутя в эскадроне, – а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистой графы «возраст» карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он – казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

– За гриву держись, сынок! – кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окорачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на Врангеля. Летом нынешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженую голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине:

– Ты того... того... Ты счастли... счастливый! Ну да, счастливый! Родинка – это, говорят, счастье.

Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:

– Брешешь ты, чудак! Я с малчества сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он – счастье!..

И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон.

II

Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату.

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цибарки вызванивают струи молока.

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:

– Командир дома?

Приподнялся на локтях Николка.

– Вот он я! Ну, чего там еще?

– Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла...

– Веди его сюда.

Тянет нарочный к конюшне лошадь, потом горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом – на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояло

три креста и с пакетом этим скакал сорок верст, не передыхая, нарочный.

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадрон на подмогу, и в горницу пошел, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда... Военком стыдит: мол, слова правильно не напишешь, а еще эскадронный... Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он... А тут банда... Опять кровь, а я уж уморился так жить... Опостылело все...»

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утопанному шляху, мчались: «В город бы уехать... Учиться б...»

Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.

III

По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведет атаман банду – полсотни казаков донских и кубанских, властью Советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьей отары, уходит дорогами и целиною бездорожно, а за ним вназирку – отряд Николки Кошевого.

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман: на стремях привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона.

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет.

Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы-гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерастить.

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, а на гербе казаков Области Войска Донского, должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярим бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.

...Мимо столбов шляхом глянцевитым ведет атаман банду – полсотни казаков донских и кубанских, властью Советской недовольных.

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские, султанистые, и – банда.

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги[1 - Музга? – озерко, болотце.] степной. Боль, чудная и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет – дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощекие жалмерки по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.

Зарю стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки.

С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунами, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышиный выводок; поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми: под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, и бороду мочалистую помял задумчиво.

На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хатенку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница...

А когда проснулся – из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:

– Иди сюда, дед!

Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших не спрашивая корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.

– Живей ходи, старый хрен!

Промеж ульев долбленых двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.

– Мы – красные, дедок... Ты нас не бойся, – миролюбиво просипел атаман. – Мы за бандой гоняемся, от своих отбились... Може, видел, вчера отряд тут проходил?

– Были какие-то.

– Куда они пошли, дедушка?

- А холера их ведает!

- У тебя на мельнице никто из них не остался?

- Нетути, - сказал Лукич коротко и повернулся спиной.

- Погоди, старик. - Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал: - Мы, дед, коммунистов ликвидируем... Так-то!.. А кто мы есть, не твоего ума дело! - Споткнулся, повод роняя из рук. - Твое дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать... Чтобы в два счета!.. Понял? Где у тебя зерно?

- Нетути, - сказал Лукич, поглядывая в сторону.

- А в этом амбаре что?

- Хлам, стало быть, разный... Нетути зерна!

- А ну пойдём!

Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах пшеница и чернобылый ячмень.

- Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?

- Зерно, кормилец... Отмол это... Год я его по зернушку собирал, а ты конями потравить норовишь...

- По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же это - за красных стоишь, смерть выпрашиваешь?

- Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня? - Шапчонку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя...

- Говори: красные тебе любы?

– Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом! Ой, прости, не казни ты меня! – голосил старик, ноги атамановы обнимая.

– Божись, что ты не за красных стоишь!.. Да ты не крестись, а землю ешь!..

Ртом беззубым жует песок из пригоршней дед и слезами его подмачивает.

– Ну, теперь верю. Вставай, старый!

И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закровов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном.

V

Заря в тумане, в мокрети мгливой.

Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме.

До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.

– Кто идет? – окрик тревожный в тишине.

– Я это... – шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.

– Кто такой? Что – пропуск? По каким делам шляешься?

– Мельник я... С водянки тутошной. По надобностям в хутор иду.

– Каки таки надобности? А ну пойдём к командиру! Вперед иди!.. – крикнул один, наезжая лошадью.

На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор.

На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо.

– За мной иди!..

В окнах огонек маячит. Вошли.

Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.

– Старика вот задержали. В хутор правился.

Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:

– Куда шел?

Лукич вперед шагнул и радостно поперхнулся.

– Родимый, свои это, а я думал – опять супостатники энти... Заробел дюже и спросить побоялся... Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил... Аль запомнил?..

– Ну, что скажешь?

– А то скажу, любезный мой: вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили коням!.. Смывались надо мною... Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.

– А сейчас они где?

– Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибегаю доложить вашей милости, может, хоть вы на них какую управу сыщете.

– Скажи, чтоб седлали!.. – С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.

VI

Рассвело.

Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке.

– Как пойдем в атаку – лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить!

И поскакал к развернутому эскадрону.

За кучей чахлых дубков на шляху показались конные – по четыре в ряд, тачанки в середине.

– Наметом! – крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.

У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались.

А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая построики, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.

Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

– Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..

Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженой восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебежал к атаману ближе, ближе...

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает», – обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

– Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя...

Чернея, крикнул:

– Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнущие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело... Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...

* * *

А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фыркание и звон стремян, – с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.

Пастух

I

Из степи, бурой, выжженной солнцем, с солончаков, потрескавшихся и белых, с восхода – шестнадцать суток дул горячий ветер.

Обуглилась земля, травы желтизной покоробились, у колодцев, густо просыпанных вдоль шляха, жилы пересохли; а хлебный колос, еще не выметавшийся из трубки, кволо поблек, завял, к земле нагнулся, сгорбтившись по-стариковски.

В полдень по хутору задремавшему – медные всплески колокольного звона.

Жарко. Тишина. Лишь вдоль плетней шаркают ноги – пылищу гребут, да костыли дедов по кочкам выстукивают – дорогу щупают.

На хуторское собрание звонят. В повестке дня – наем пастуха.

В исполкоме жужжанье голосов. Дым табачный.

Председатель постучал огрызком карандаша по столу.

– Граждане, старый пастух отказался стеречь табун, говорит, мол, плата несходная. Мы, исполком, предлагаем нанять Фролова Григория. Нашевский он рожак, сирота, комсомолист... Отец его, как известно вам, чеботарь был. Живет он с сестрой, и пропитание у них нету. Думаю, граждане, вы войдете в такое положение и наймете его стеречь табун.

Старик Нестеров не стерпел, задом кособоким завихлял, заерзал.

– Нам этого невозможно... Табун здоровый, а он какой есть пастух!.. Стеречь надо в отводе, потому вблизи кормов нету, а его дело непривычное. К осени и половины телят недосчитаемся...

Игнат-мельник, старичишка мудреный, ехидным голоском медовым загнусавил:

– Пастуха мы и без сполкома найдем, дело нас одних касается... А человека надо выбрать старого, надежного и до скотины обходительного...

– Правильно, дедушка...

– Старика наймете, граждане, так у него скорей пропадут теляты... Времена ноне не те, воровство везде огромное... – Это председатель сказал настоисто так и выжидательно; а тут сзади поддерживали:

– Старый негож... Вы возьмите во внимание, что это не коровы, а теляты-летошники. Тут собачьи ноги нужны. Зыкнет табун – поди собери, дедок побежит и потроха растеряет...

Смех перекатами, а дед Игнат свое сзади вполголоса:

– Коммунисты тут ни при чем... С молитвой надо, а не абы как... – И лысину погладил вредный старичишка.

Но тут уж председатель со всей строгостью:

– Прошу, гражданин, без разных выходок... За такие... подобные... с собрания буду удалять...

...Зарю, когда из труб клочьями мазаной ваты дым ползет и стелется низко на площади, собрал Григорий табун в полтораста голов и погнал через хутор на бугор седой и неприветливый.

Степь испятнали бурые прыщи сурчиных нор; свистят сурки протяжно и настороженно; из логов с травой приземистой стрепета взлетают, посеребренным опереньем сверкая.

Табун спокоен. По земляной морщинистой коре дробным дождем выцокивают раздвоенные копыта телят.

Рядом с Григорием шагает Дунятка – сестра-подпасок. Смеются у нее щеки загоревшие, веснушчатые, глаза, губы, вся смеется, потому что на Красную горку пошла ей всего-навсего семнадцатая весна, а в семнадцать лет все распотешным таким кажется: и насупленное лицо брата, и телята лопоухие, на ходу пережевывающие бурьянок, и даже смешно, что второй день нет у них ни куска хлеба.

А Григорий не смеется. Под картузом обветшавшим у Григория лоб крутой, с морщинами поперечными и глаза усталые, будто прожил он куда больше девятнадцати лет.

Спокойно идет табун обочь дороги, рассыпавшись пятнистой валкой.

Григорий свистнул на отставших телят и к Дунятке повернулся:

– Заработаем, Дунь, хлеба к осени, а там в город поедем. Я на рабфак поступлю и тебя куда-нибудь пристрою... Может, тоже на какое ученье... В городе, Дунятка, книжек много, и хлеб едят чистый, без травы, не так, как у нас.

– А денег откель возьмем... ехать-то?

– Чудачка ты... Хлебом заплатят нам двадцать пудов, ну вот и деньги... Продадим по целковому за пуд, потом пшено продадим, кизяки.

Посреди дороги остановился Григорий, кнутовищем в пыли чертит, высчитывает.

- Гриша, чего мы есть будем? Хлеба ничуть нету...

Рядом с Григорием шагает Дуняшка - сестра-подпасок. Смеются у нее щеки загоревшие, веснушчатые, глаза, губы, вся смеется...

- У меня в сумке кусок пышки черствой остался.

- Ныне съедим, а завтра как же?

- Завтра приедут с хутора и привезут муки... Председатель обещался...

Жарит полдневное солнце. У Григория рубаха мешочная взмокла от пота, к лопаткам прилипла.

Идет табун беспокойно, жалят телят овода и мухи, в воздухе нагретом виснет рев скота и зуденье оводов.

К вечеру, перед закатом солнца, подогнали табун к базу. Неподалеку пруд и шалаш с соломой, от дождей перепревшей.

Григорий обогнал табун рысью. Тяжело подбежал к базу, воротца хворостяные отворил.

Телят пересчитывал, пропуская по одному в черный квадрат ворот.

II

На кургане, торчавшем за прудом ядреной горошиной, слепили новый шалаш. Стенки пометом обмазали, верх бурьяном Григорий покрыл.

На другой день председатель приехал верхом. Привез полпуда муки кукурузной и сумку пшена. Присел, закуривая, в холодке.

– Парень ты хороший, Григорий. Вот достережешь табун, а осенью поедем с тобой в округ. Может, оттель какими способами поедешь учиться... Знакомый есть там у меня из наробразы, пособит...

Пунцовел Григорий от радости и, провожая председателя, стремя ему держал и руку сжимал крепко. Долго глядел вслед курчавым завиткам пыли, стелившимся из-под лошадиных копыт.

Степь, иссохшая, с чахоточным румянцем зорь, в полдень задышалась от зноя. Лежа на спине, смотрел Григорий на бугор, задернутый тающей просинью, и казалось ему, что степь живая и трудно ей под тяжестью неизмеримой поселков, станиц, городов. Казалось, что в прерывистом дыханье колышется почва, а где-то внизу, под толстыми пластами пород, бьется и мечется иная, неведомая жизнь.

И среди белого дня становилось жутко.

Взглядом мерил неизмеренные ряды бугров, смотрел на струистое марево, на табун, испятнавший коричневую траву, думал, что от мира далеко отрезан, будто ломоть хлеба.

Вечером под воскресенье загнал Григорий табун на баз. Дунятка у шалаша огонь развела, кашу варила из пшена и пахучего воробьиного щавеля.

Григорий к огню подсел, сказал, мешая кнутовищем кизяки духовитые:

– Гришакина телка захворала. Надо бы хозяину переказать...

– Может, мне на хутор пойтить?.. – спросила Дунятка, стараясь казаться равнодушной.

– Не надо. Табун не устерегу один... – Улыбнулся: – По людям заскучала, а?

– Соскучилась, Гриша, родненький... Месяц живем в степи и только раз человека видели. Тут если пожить лето, так и гутарить разучишься...

– Терпи, Дунь... Осенью в город уедем. Будем учиться с тобой, а посла, как выучимся, вернемся сюда. По-ученому землю зачнем обрабатывать, а то ить темень у нас тут, и народ спит... Неграмотные все... книжек нету...

– Нас с тобой не примут в ученье... Мы тоже темные...

– Нет, примут. Я зимою, как ходил в станицу, у секретаря ячейки читал книжку Ленина. Там сказано, что власть – пролетариям, и про ученье прописано: что, мол, учиться должны, которые из бедных.

Гришка на колени привстал, на щеках его заплясали медные отблески света.

– Нам учиться надо, чтобы уметь управлять нашевской республикой. В городах – там власть рабочие держут, а у нас председатель станицы – кулак и по хуторам председатели – богатеи...

– Я бы, Гриша, полы мыла, стирала, зарабатывала, а ты учился...

Кизяки тлеют, дымясь и вспыхивая. Степь молчит, полусонная.

III

С милиционером, ехавшим в округ, переназывал Григорию секретарь ячейки Политов в станицу прийти.

До света вышел Григорий и к обеду с бугра увидел колокольню и домишки, покрытые соломой и жостью.

Волоча намозоленные ноги, добрел до площади.

Клуб в поповском доме. По новым дорожкам, пахнувшим свежей соломой, вошел в просторную комнату.

От ставней закрытых – полутемно. У окна Политов рубанком орудует – раму мастерит.

– Слыхал, брат, слыхал... – улыбнулся, подавая вспотевшую руку. – Ну, ничего не попишешь! Я справлялся в округе: там на маслобойный завод ребята требовались, оказывается, уже набрали на двенадцать человек больше, чем надо... Постерегешь табун, а осенью отправим тебя в ученье.

– Тут хоть бы эта работа была... Кулаки хуторные страсть как не хотели меня в пастухи... Мол, комсомолец – безбожник, без молитвы будет стеречь... – смеется устало Григорий.

Политов рукавом смел стружки и сел на подоконник, осматривая Григория из-под бровей, нахмуренных и мокрых от пота.

– Ты, Гриша, худющий стал... Как у тебя насчет жратвы?

– Кормлюсь.

Помолчали.

– Ну, пойдем ко мне. Литературы свежей тебе дам: из округа получили газеты и книжки.

Шли по улице, уткнувшейся в кладбище. В серых ворохах золы купались куры, где-то скрипел колодезный журавль, да тягучая тишина в ушах звенела.

– Ты оставайся нынче. Собрание будет. Ребята уже заикались по тебе: «Где Гришка, да как, да чего?» Повидаешь ребят... Я нынче доклад о международном положении делаю... Переночуешь у меня, а завтра пойдешь. Ладно?

– Мне ночевать нельзя. Дунятка одна табун не устережет. На собрании побуду, а как кончится – ночью пойду.

У Политова в сенцах прохладно.

Сладко пахнет сушеными яблоками, а от хомутов и шлей, развешанных по стенам, – лошадиным потом.

В углу – кадка с квасом, и рядом кривобокая кровать.

– Вот мой угол: в хате жарко...

Нагнулся Политов, из-под холста бережно вытянул давнишние номера «Правды» и две книжки.

Сунул Григорию в руки и излатанный мешок растопырил:

– Держи...

За концы держит мешок Григорий, а сам строки газетные глазами нижет.

Политов пригоршнями сыпал муку, встряхнул до половины набитый мешок и в горницу мотнулся.

Принес два куска сала свиного, завернул в ржавый капустный лист, в мешок положил, буркнул:

– Пойдешь домой – захвати вот это!

– Не возьму я... – вспыхнул Григорий.

– Как же не возьмешь?

– Так и не возьму...

– Что же ты, гад! – белея, крикнул Политов и глаза в Гришку вонзил. – А еще товарищ! С голоду будешьдохнуть и слова не скажешь. Бери, а то и дружба врозь!..

– Не хочу я брать у тебя последнее...

– Последняя у попа попадья, – уже мягче сказал Политов, глядя, как Григорий сердито завязывает мешок.

Собрание окончилось перед рассветом.

Степью шел Гришка. Плечи оттягивал мешок с мукой, горели до крови растертые ноги, но бодро и весело шагал он навстречу полыхавшей заре.

IV

Зарю вышла из шалаша Дунятка помету сухого собрать на топку. Григорий рысью от база бежит. Догадалась, что случилось что-то недоброе.

– Аль поделалось что?

– Телушка Гришакина сдохла... Еще три скотинки захворали. – Дух перевел, сказал: – Иди, Дунь, в хутор. Накажи Гришаке и остальным, чтоб пришли нонче... скотина, мол, захворала.

Наскорях покрылась Дунятка. Зашагала Дунятка через бугор от солнышка, ползущего из-за кургана.

Проводил ее Григорий и медленно пошел к базу.

Табун ушел в падинку, а около плетней лежали три телки. К полудню подошли все.

Мечется Григорий от табуна к базу: захворало еще две штуки...

Одна возле пруда на сыром иле упала; голову повернула к Гришке, мычит протяжно; глаза выпуклые слезой стекленеют, а у Гришки по щекам, от загара бронзовым, свои соленые слезы ползут.

На закате солнца пришла с хозяевами Дунятка...

Старый дед Артемыч сказал, трогая костылем недвижную телку:

- Шуршелка - болезнь эта... Теперя начнет весь табун валять.

Шкуры ободрали, а туши закопали невдалеке от пруда. Земли сухой и черной насыпали свежий бугор.

А на другой день снова по дороге в хутор вышагивала Дунятка. Заболело сразу семь телят...

Дни уплывали черной чередой. Баз опустел. Пусто стало и на душе у Гришки. От полутора ста голов осталось пятьдесят. Хозяева приезжали на арбах, обдирали издохших телят, ямы неглубокие рыли в падинке, землей кровянистые туши прикидывали и уезжали. А табун нехотя заходил на баз; телята ревели, чужая кровь и смерть, невидимо ползающую промеж них.

Зорями, когда пожелтевший Гришка отворял скрипучие ворота база, выходил табун на пастьбу и неизменно направлялся через присохшие холмы могил.

Запах разлагающегося мяса, пыль, вздернутая беснующимся скотом, рев, протяжный и беспомощный, и солнце, такое же горячее, в медлительном походе идущее через степь.

Приезжали охотники с хутора. Стреляли вокруг плетней база: хворь лютую пугали от база. А телята всё дохли, и с каждым днем редел и редел табун.

Начал замечать Гришка, что разрыты кое-какие могилы; кости обглоданные находил неподалеку; а табун, беспокойный по ночам, стал пугливый.

В тишине, ночами, вдруг разом распухал дикий рев... и табун, ломая плетни, метался по базу.

Телята повалили плетни, кучками переходили к шалашу. Спали возле огня, тяжело вздыхая и пережевывая траву.

Гришка не догадывался до тех пор, пока ночью не проснулся от собачьего бреха. На ходу надевая полушубок, выскочил из шалаша. Телята затерли его влажными от росы спинами.

Постоял у входа, собакам свистнул и в ответ услышал из Гадючьей балки разноголосый и надрывистый волчий вой. Из тернов, перепоясавших гору, басом откликнулся еще один...

Вошел в шалаш, жирник засветил.

- Дуня, слышишь?

Переливчатые голоса потухли вместе со звездами на заре.

V

Поутру приехали Игнат-мельник и Михей Нестеров. Григорий в шалаше чирики латал. Вошли старики. Дед Игнат шапку снял, щурясь от косых солнечных лучей, ползавших по земляному полу шалаша, руку поднял - перекреститься хотел на маленький портрет Ленина, висевший в углу. Разглядел и на полдороге торопливо сунул руку за спину; сплюнул злобно.

- Так-с... Иконы Божьей, значит, не имеешь?..

- Нет...

- А это кто же на святом месте находится?

- Ленин.

- То-то и беда наша... Бога нетути, и хворь тут как тут... Через эти самые дела и телятки-то передохли... О-хо-хо, Вседержитель наш милостивый...

- Теляты, дедушка, оттого дохли, что ветеринара не позвали.

- Жили раньше и без ветинара вашего... Ученый ты больно уж... Лоб бы свой нечистый крестил почаще, и ветинар не нужен был бы.

Михей Нестеров, ворочая глазами, выкрикнул:

– Сыми с переднего угла нехристя-то!.. Через тебя, поганца, богохульщика, стадо передохло!

Гришка побледнел слегка.

– Дома бы распоряжались... Рот-то нечего драть... Это вождь пролетариев...

Накочетился Михей Нестеров, багровея, орал:

– Миру служишь – по-нашему и делай!.. Знаем вас таких-то!.. Гляди, а то скоро управимся!

Вышли, нахлобучив шапки и не прощаясь.

Испуганная глядела на брата Дунятка.

А через день пришел из хутора кузнец Тихон – телушку свою проведать.

Сидел возле шалаша на корточках, сигарку курил, говорил, улыбаясь горько и криво:

– Житье наше поганое... Старого председателя сместили, управляет теперича Михея Нестерова зять. Ну вот и крутят на свой норов... Вчерась землю делили: как только кому из бедных достается добрая полоса, так зачинают передел делать. Опять на хребтину нам садятся богатеи... Позабрали они, Гришуха, всю добрую землю. А нам суглинок остался... Вот она, песня-то какая...

До полуночи сидел у огня Григорий и на шафранных разлапистых листьях кукурузы углем выводил заскорузлые строки. Писал про неправильный раздел земли, писал, что вместо ветеринара боролись стрельбою с болезнью скота. И, отдавая пачку сухих исписанных кукурузных листьев Тихону-кузнецу, говорил:

– Доведется в округ сходить, то спросишь, где газету «Красную правду» печатают. Отдашь им вот это... Я разбористо писал, только не мни, а то уголь сотрешь...

Пальцами обожженными, от угля черными, бережно взял шуршащие листки кузнец и за пазуху возле сердца положил. Прощаясь, сказал с той же улыбкой:

– Пешком пойду в округ, может, там найду Советскую власть... Полтораста верст я за трое суток покрою. Через неделю, как вернуся, так гукну тебе...

VI

Осень шла в дождях, в мокрости пасмурной.

Дунятка с утра ушла в хутор за харчами.

Телята паслись на угорье. Григорий, накинув зипун, ходил за ними следом, головку поблеклую придорожного татарника мял в ладонях задумчиво. Перед сумерками, короткими по-осеннему, с бугра съехали двое конных.

Чавкая копытами лошадей, подскакали к Григорию.

В одном опознал Григорий председателя – зятя Михея Нестерова, другой – сын Игната-мельника.

Лошади в мыле потном.

– Здорово, пастух!..

– Здравствуйте!..

– Мы к тебе приехали...

Перевесившись на седле, председатель долго расстегивал шинель пальцами иззябшими; достал желтый газетный лист, развернул на ветру.

– Ты писал это?

Заплясали у Григория его слова, с листьев кукурузных снятые, про передел земли, про падеж скота.

– Ну, пойдём с нами!

– Куда?

– А вот сюда, в балку... Поговорить надо... – Дергаются у председателя посинелые губы, глаза шныряют тяжело и нудно.

Улыбнулся Григорий:

– Говори тут.

– Можно и тут... коли хочешь...

Из кармана наган выхватил... Прохрипел, задерживая мордующую лошадь:

– Будешь в газетах писать, гадюка?

– За что ты?..

– За то, что через тебя под суд иду! Будешь клязничать?.. Говори, коммунычий ублюдок!..

Не дождавшись ответа, выстрелил Григорию в рот, замкнутый молчанием.

Под ноги вздыбившейся лошади повалился Григорий, охнул, пальцами скрюченными выдернул клочок порыжелой и влажной травы и затих.

С седла соскочил сын Игната-мельника, в пригоршню загреб ком черной земли и в рот, запенившийся пузырчатой кровью, напихал...

* * *

Широка степь и никем не измерена. Много по ней дорог и проследков. Темней темного ночь осенняя, а дождь следы лошадиных копыт начисто смывает...

VII

Изморось. Сумерки. Дорога в степь.

Тому не тяжело идти, у кого за спиной сумчонка с краюхой ячменного хлеба да костыль в руках.

Идет Дунятка обочью дороги. Ветер полы рваной кофты рвет и в спину ее толкает порывами.

Степь кругом залегла неприветная, сумрачная. Смеркается.

Курган завиднелся невдалеке от дороги, а на нем шалаш с космами разметанного бурьяна.

Подошла походкой кривою, как будто пьяною, и на могилку осевшую легла вниз лицом.

Ночь...

Идет Дунятка по шляху наезженному, что лег напрямиком к станции железнодорожной.

Легко ей идти, потому что в сумке, за спиною, краюха хлеба ячменного, затрепанная книжка со страницами, пропахшими горькой степной пылью, да Григория-брата рубаха холщовая.

Когда горечью набухнет сердце, когда слезы выжигают глаза, тогда где-нибудь, далеко от чужих глаз, достает она из сумки рубаху холщовую нестираную... Лицом припадает к ней и чувствует запах родного пота... И долго лежит неподвижно...

Версты уходят назад. Из степных буераков вой волчий, на жительство негодующий, а Дунятка обочью дороги шагает, в город идет, где Советская власть, где учатся пролетарии для того, чтобы в будущем уметь управлять республикой.

Так сказано в книжке Ленина.

1925

Продкомиссар

I

В округ приезжал областной продовольственный комиссар.

Говорил, торопясь и дергая ехидными, выбритыми досиня губами:

– По статистическим данным, с вверенного вам округа необходимо взять сто пятьдесят тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначил сюда на должность окружного продкомиссара как энергичного, предприимчивого работника. Надеюсь. Месяц сроку... Трибунал приедет на днях. Хлеб нужен армии и центру вот как... – Ладонью чиркнул по острому щетинистому кадыку и зубы стиснул жестко. – Злостно укрывающих – расстреливать!..

Головой, голо остриженной, кивнул и уехал.

II

Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: разверстка.

По хуторам и станицам казаки-посевщики богатыми очкурами покрепче перетянули животы, решили разом и не задумавшись:

- Дарма хлеб отдавать?.. Не дадим...

На базах, на улицах, кому где приглянулось, ночушками повыбухали ямищи, пшеницу ядреную позарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про соседа, где и как попрятал хлебишко.

Молчат...

Бодягин с продотрядом каруселит по округу. Снег визжит под колесами тачанки, бегут назад заиндедеввшие плетни. Сумерки вечерние. Станица – как и все станицы, но Бодягину она родная. Шесть лет ее не состарили.

Так было: июль знойный, на межах желтопенная ромашка, покос хлебов, Игнашке Бодягину – четырнадцать лет. Косил с отцом и работником. Ударил отец работника за то, что сломал зубец у вил; подошел Игнат к отцу вплотную, сказал, не разжимая зубов:

- Сволочь ты, батя...

- Я?!

- Ты...

Ударом кулака сшиб с ног Игната, испорол до крови чересседельней. Вечером, когда вернулись с поля домой, вырезал отец в саду вишневый костыль, обстрогал, – бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки:

- Поди, сынок, походи по миру, а ума-разума наберешься – назад вертайся, – и ухмыльнулся.

Так было, – а теперь шуршит тачанка мимо заиндедеввших плетней, бегут назад соломенные крыши, ставни размалеванные. Глянул Бодягин на раины в отцовском палисаднике, на жестяного петуха, раскрылатившегося на крыше в

безголосном крике; почувствовал, как что-то уперлось в горле и перехватило дыхание. Вечером спросил у хозяина квартиры:

– Старик Бодягин живой?

Хозяин, чинивший упряжку, обсмоленными пальцами всучил в дратву щетинку, сощурился:

– Все богатеет... Новую бабу завел, старуха померла давненько, сын пропал где-то, а он, старый хрен, все по солдаткам бегает... – И, меняя тон на серьезный, добавил: – Хозяин ничего, обстоятельный... Вам разве из знакомцев?

Утром, за завтраком, председатель выездной сессии ревтрибунала сказал:

– Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать... При обыске оказали сопротивление, избили двух красноармейцев. Показательный суд устроим и шлепнем...

III

Председатель трибунала, бывший бондарь, с приземистой сцены народного дома бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил:

– Расстрелять!..

Двух повели к выходу... В последнем Бодягин отца спознал. Рыжая борода только по краям заковылилась сединой. Взглядом проводил морщинистую загорелую шею, вышел следом.

У крыльца начальнику караула сказал:

– Позови ко мне вот того, старика.

Шагал старый, понуро сутулился, узнал сына, и горячее блеснуло в глазах, потом потухло. Под взъерошенное жито бровей спрятал глаза.

– С красными, сынок?

– С ними, батя.

– Тэ-э-эк... – В сторону отвел взгляд.

Помолчали.

– Шесть лет не видались, батя, и говорить нечего?

Старик зло и упрямо наморщил переносицу:

– Почти не к чему... Стёжки нам выпали разные. Меня за мое ж добро расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пуцаю, – я есть контра, а кто по чужим закромам шарит, энтот при законе? Грабьте, ваша сила.

У продкомиссара Бодягина кожа на острых изломах скул посерела.

– Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метем под гребло. Ты первый батраков всю жизнь сосал!

– Я сам работал день и ночь. По белу свету не шатался, как ты!

– Кто работал – сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты с дрекольем встретил... К плетню не пустил... За это и на распыл пойдешь!..

У старика наружу рвалось хриплое дыхание. Сказал голосом осипшим, словно оборвал тонкую нить, до этого вязавшую их обоих:

– Ты мне не сын, я тебе не отец. За такие слова на отца будь трижды проклят, анафема... – Сплюнул и молча зашагал. Круто повернулся, крикнул с задором нескрытым: – Нно-о, Игнашка!.. Нешто не доведется свидеться, так твою мать! Идут с Хопра казаки вашевскую власть резать. Не умру, сохранит Матерь Божия, – своими руками из тебя душу выну.

* * *

Вечером за станицей мимо ветряка, к глинищу, куда сваливается дохлая скотина, свернули кучкой. Комендант Тесленко выбил трубку, сказал коротко:

- Становитесь до яру ближе...

Бодягин глянул на сани, ломтями резавшие лиловый снег сбочь дороги, сказал придушенно:

- Не серчай, батя...

Подождал ответа.

Тишина.

- Раз... два... три!..

Лошадь за ветряком рванулась назад, сани испуганно завиляли по ухабистой дороге, и долго еще кивала крашенная дуга, маяча поверх голубой пелены осевшего снега.

IV

Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: на Хопре восстание. Исполкомы сожжены. Сотрудники частью перерезаны, частью разбежались.

Продотряд ушел в округ. В станице на сутки остались Бодягин и комендант трибунала Тесленко. Спешили отправить на ссыпной пункт последние подводы с хлебом. С утра пришагала буря. Понесло, закурило, белой мутью запорошило станицу. Перед вечером на площадь прискакало человек двадцать конных. Над станицей, застрявшей в сугробах, полыхнул набат. Лошадиное ржание, вой собак, надтреснутый, хриплый крик колоколов...

Восстание.

На горе через впалую лысину кургана, понатужась, перевалили двое конных. Под горою, по мосту, лошадиный топот. Куча всадников. Передний в офицерской папахе плетью вытянул длинноногую породистую кобылу.

- Не уйдут коммунисты!..

За курганом Тесленко, вислоусый украинец, поводьями тронул маштака-киргиза.

- Черта с два догонят!

Лошадей «прижеливали». Знали, что разлапистый бугор лег верст на тридцать.

Позади погоня лавой рассыпалась. Ночь на западе, за краем земли, сутуло сгорбатилась. Верстах в трех от станицы в балке, в лохматом сугробе, Бодягин заприметил человека. Подскакал, крикнул хрипло:

- Какого черта сидишь тут?

Мальчонка малюсенький, синим воском налитый, качнулся. Бодягин плетью взмахнул, лошадь замордовалась, танцуя подошла вплотную.

- Замерзнуть хочешь, чертячье отродье? Как ты сюда попал?

Соскочил с седла, нагнулся, услышал шелест невнятный:

- Я, дяденька, замерзаю... Я - сирота... по миру хожу. - Зябко натянул на голову полу рваной бабьей кофты и притих.

Бодягин молча расстегнул полушубок, соскочил с седла, в полу завернул щуплое тельце и долго садился на взноровившуюся лошадь.

Скакали. Мальчишка под полушубком прижух, оттаял, цепко держался за ременный пояс. Лошади заметно сдавали ходу, хрипели, отрывисто ржали, чуя нарастающий топот сзади.

Тесленко сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за гриву бодягинского коня:

– Брось пацаненка! Чуешь, бисов сын? Брось, бо можуть споймать нас!.. – Богом матюкался, плетью стегал посиневшие руки Бодягина. – Догонят – зарубают!.. Щоб ты ясным огнем сгорив со своим хлопцем!..

Лошади поравнялись пенистыми мордами. Тесленко до крови иссек Бодягину руки. Окостенелыми пальцами тискал тот вялое тельце, повод уздечки заматывая на луку, к нагану тянулся.

– Не брошу мальчонку, замерзнет!.. Отвяжись, старая падла, убью!

Голосом заплакал сивоусый украинец, поводья натянул:

– Не можно уйти! Шабаш!..

Пальцы – чужие, непослушные; зубами скрипел Бодягин, ремнем привязывая мальчишку поперек седла. Попробовал, крепко ли, и улыбнулся:

– За гриву держись, головастик!

Ударил ножами шашки по потному крупу коня, Тесленко под вислые усы сунул пальцы, свистнул пронзительным разбойничьим посвистом. Долго провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегченным галопом. Легли рядышком. Сухим, отчетливым залпом встретили вынырнувшие из-под пригорка папахи...

* * *

Лежали трое суток. Тесленко, в немых бязевых подштанниках, небу показывал пузырчатый ком мерзлой крови, торчащей изо рта, разрубленного до ушей. У Бодягина по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички; из распоротого живота и порожних глазных впадин не торопясь поклевывали черноусый ячмень.

Алешкино сердце

Два лета подряд засуха дочерна вылизывала мужицкие поля. Два лета подряд жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сушил устремленные на высохшую степь глаза мужиков и скупые, колючие мужицкие слезы. Следом шагал голод. Алешка представлял себе его большущим безглазым человеком: идет он бездорожно, шарит руками по поселкам, хуторам, станицам, душит людей и вот-вот черствыми пальцами насмерть стиснет Алешкино сердце.

У Алешки большой, обвислый живот, ноги пухлые... Тронет пальцем голубовато-багровую икру, сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой волдыриками пухнет кожа, и то место, где тронул пальцем, долго наливается землянистой кровью.

Уши Алешки, нос, скулы, подбородок туго, до отказа, обтянуты кожей, а кожа – как сохляя вишневая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алешке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алешка пятый месяц. Алешка пухнет с голоду.

Ранним утром, когда цветущие сибирьки рассыпают у плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их желтых цветках, а утро, сполоснутое росой, звенит прозрачной тишиной, Алешка, раскачиваясь от ветра, добрал до канавы, стоная, долго перелезил через нее и сел возле плетня, припотевшего от росы. От радости сладко кружилась Алешкина голова, тосковало под ложечкой. Потому кружилась радостно голова, что рядом с Алешкиными голубыми и неподвижными ногами лежал еще теплый трупик жеребенка.

На сносях была соседская кобыла. Недоглядели хозяева, и на прогоне пузатую кобылу пырнул под живот крутыми рогами хуторской бугай, – скинула кобыла. Тепленький, парной от крови, лежит у плетня жеребенок; рядом Алешка сидит, упираясь в землю суставчатыми ладонями, и смеется, смеется...

Попробовал Алешка всего поднять, не под силу. Вернулся домой, взял нож. Пока дошел до плетня, а на том месте, где жеребенок лежал, собаки склублились, дерутся и тянут по пыльной земле розоватое мясо. Из Алешкиного перекошенного рта: «А-а-а...» Спотыкаясь, размахивая ножом, побежал на собак.

Собрал в кучу все до последней тоненькой кишочки, половинами перетаскал домой.

К вечеру, объевшись волокнистого мяса, умерла Алешкина сестренка – младшая, черноглазая.

Мать на земляном полу долго лежала вниз лицом, потом встала, повернулась к Алешке, шевеля пепельными губами:

– Бери за ноги...

Взяли. Алешка – за ноги, мать – за курчавую головку, отнесли за сад в канаву, слегка прикидали землей.

На другой день соседский парнишка повстречал Алешку, ползущего по проулку, сказал, ковыряя в носу и глядя в сторону:

– Лёш, а у нас кобыла жеребенка скинула, и собаки его слопали!..

Алешка, прислонясь к воротам, молчал.

– А Нюратку вашу из канавы тоже отрыли собаки и середку у ей выжрали...

Алешка повернулся и пошел молча и не оглядываясь.

Парнишка, чикиляя на одной ноге, кричал ему вслед:

– Маманька наша бает, какие без попа и не на кладбище закопанные, этих черти будут в аду драть!.. Слышь, Лешка?

* * *

Неделя прошла. У Алешки гноились десны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караича, зубы во рту у него качались, плясали, а горло тискали судороги.

Мать, лежавшая третьи сутки не вставая, шелестела Алешке:

– Леня... пошел бы... молочаю в саду надергал...

Ноги у Алешки – как былки, оглядел их подозрительно и лег на спину, от боли, резавшей губы, длинно растягивал слова:

– Я, маманька, не дойду... Меня ветер валяет...

На этот же день Польшка, старшая сестра Алешки, доглядела, когда богатая соседка, Макарчиха по прозвищу, ушла за речку полоть огород, проводила глазами желтый платок, мелькавший по садам, и через окно влезла к ней в хату. Подставив скамью, забралась в печку, из чугуна через край пила постные щи, пальцами вылавливала картошку. Убитая едой, уснула, как лежала, – голова в печке, а ноги на скамье. К обеду вернулась Макарчиха – баба ядреная и злая. Увидела Польшку, взвизгнула, одной рукой вцепилась в спутанные волосенки, а другой, зажав в кулаке железный утюг, молча била ее по голове, лицу, по гулкой иссохшей груди.

Из своего двора видал Алешка, как Макарчиха, озираясь, стянула Польшку с крыльца за ноги. Подол Польшкиной юбчонки задрался выше головы, а волосы мели по двору пыль и стлали по земле кровянистую стежку.

Сквозь решетчатый переплет плетня глядел не моргая Алешка, как Макарчиха кинула Польшку в давнишний обвалившийся колодец и торопливо прикинула землей.

* * *

Ночью в саду пахнет земляной сыростью, крапивным цветом и дурманным запахом собачьей бесилы. Вдоль обветшалой огорожи лопухи караулят дорожку бессменно. Ночью вышел Алешка в сад, долго глядел на Макарчихин двор, на слюдяные оконца, на лунные брызги, окропившие лохматую листву садов, и тихо побрел к воротам Макарчихино двора. Под амбаром загремел цепью и забрехал привязанный кобель.

– Цыц!.. Серко... Серко... – стягивая губы, Алешка посвистал заискивающе, и кобель смолк.

В калитку не пошел Алешка, перелез через плетень и ощупью, ползком добрался до погреба, накрытого бурьяном и ветками. Прислушиваясь, звякнул цепкой. Не заперт погреб. Крышку приподнял, ежась, спустился по лестнице.

Не видал Алешка, как из стряпки выскочила Макарчиха. Подбирая рубаху, прыжками добежала до повозки, стоявшей посреди двора, выдернула шкворень – и к погребу. Свесила вниз распатлаченную голову, а Алешка закрыл помутневшие глаза и, прислушиваясь к ударам тарахтящего сердца, не передыхая, пил из кувшина молоко.

– Ах ты, хвятинов в твою дыхало! Ты что же это делаешь, сукин сын?..

Разом отяжелевший кувшин скользнул из захлававших Алешкиных пальцев и разлетелся вдребезги, стукнувшись о край лестницы.

Комом упала Макарчиха в погреб...

* * *

Легко подняла Алешку за плечи, молча, с плотно сжатыми губами, вышла на проулок, прошла под плетнем до речки и бросила вялое тело на ил, около воды.

На другой день – праздник Троица. У Макарчихи пол усыпан чабрецом и богородицыной травкой. С утра выдоила корову, прогнала ее в табун, шаль-ку достала праздничную, цветастую, в разводах, покрылась и пошла к Алешкиной матери. Двери в сенцы распахнуты, из неметеной горницы духом падальным несет. Вошла. Алешкина мать на кровати лежит, ноги поджала, и рукою от света прикрыты глаза. На закоптелый образ перекрестилась Макарчиха истово.

– Здорово живешь, Анисимовна!

Тишина. У Анисимовны рот раззявлен криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчиха шагнула к кровати.

– Долго пануешь, милая... А я, признаться, зашла узнать: не будешь ли ты продавать свою хату? Сама знаешь – девка у меня на выданье, хотела зятя принять... Да ты спишь, что ли?

Тронула руку – и обожглась колючим холодком. Ахнула, кинулась от мертвой бежать, а в дверях Алешка стоит – белей мела. За косяк дверной цепляется, в крови весь, в иле речном.

– А я живой, тетя... не убивай меня... я не буду!

* * *

Перед сумерками, через улицы, увешанные кудрявыми коврами пыли, через площадь, мимо отерханной церковной ограды, тенью шел Алешка. Возле школы, под нахмуренными акациями, повстречал попа. Шел из церкви тот, сгорбатившись, нес в мешке пироги и солонину. Алешка, кривя губы, прохрипел:

– Христа ради...

– Бог подаст!.. – и зашагал мимо, сутулясь, путаясь в полах подрясника.

Возле речки в кирпичных сараях и амбарах – хлеб. Во дворе дом, жестью крытый. Заготовительная контора Донпродкома № 32. Под навесом сарая – полевая кухня, две патронные двуколки, а у амбаров шаги и нечищенные жала штыков. Охрана.

Выждал Алешка, пока повернется спиной часовой, и юркнул под амбар (доглядел еще поутру, что из щелей струею желтой сочится хлеб). Брал в пригоршню жесткое зерно, жевал жадно. Опамятовался от голоса сзади:

– Это кто тут?

– Я...

– Кто ты?

– Алешка...

– Ну, вылазь!..

Поднялся на ноги Алешка, глаза зажмурил, ждал удара, ладонями закрывая лицо. Стояли долго... Потом голос добродушно буркнул:

– Пойдем ко мне, Алешка! У меня есть пшеница пареная.

Успел доглядеть Алешка на горбатом носу очки тусклые и улыбку, совсем не сердитую. Очкастый зашагал, отмеряя длинными ногами, как ходулями, а Алешка за ним поспешил, спотыкаясь и падая на руки. В заготконторе вторая дверь по коридору направо с надписью:

«Помещается политком Сеницын!»

Вошли. Очкастый зажег жирник, сел на табурет, широко разбросав ноги, а Алешке под нос потихонечку сунул горшок с пареной пшеницей и в полбутылке подсолнечное масло. Глядел, как двигались Алешкины скулы и на щеках его вспухали и бегали желваки. Потом встал и взял горшок. Алешка уцепился бородавчатыми пальцами за края. Всхлипнул, трясся головой.

– Жалко тебе, жадюга?!

– Не жалко, дурья твоя голова, а облопаешься – издохнешь!

* * *

На другой день во двор заготконторы с рассветом пришел Алешка. Сидел на поломанных порожках, ляская зубами, и до восхода солнца ждал, пока скрипнет дверь с надписью «Помещается политком Сеницын!» и на пороге покажется очкастый.

Солнце перевалило через кирпичные сараи, когда встал очкастый. Вышел он на крыльцо и носом закрутил.

– От тебя воняет, Алешка?

– Я исть хочу... – буркнул Алешка и глянул на очки снизу вверх.

– Сейчас мы сварим каши, но... от тебя, Алеша Попович, все-таки воняет.

Алешка сказал просто и деловито:

– Меня Макарчиха убивала, а теперь жарко, и в голове черви завелись...

Очкастый побледнел и переспросил:

– У тебя черви?

– В голове!.. Грызут дюже...

Алешка снял с головы перепревший от крови пук конопли, а очкастый заглянул в круглую гноющуюся рану на Алешкиной голове. Увидел, как из сукровицы острые головки кажут белые черви, и застонал, через крыльцо перегнувшись.

Алешка осмелел и сказал:

– Ты вот чего... ты мне их повыковырай палочкой, а в дыру керосину налей...
Подохнут черви с керосину-то?

Очкастый заостренной палочкой выковыривал из раны склизких червяков, а Алешка скулил и перебирал ногами. С этих пор и установилась промеж них дружба. Каждый день приползал в заготконтору Алешка, жрал толокно из чашки, хлебал масло, ел много и жадно и всегда беспокойно ощущал на себе пытливо-ласковый взгляд.

* * *

За прогоном, за зеленой стеной шуршащих будыльев кукурузы отцвело жито. Колос вспух и налился ядреным молочным зерном. Каждый день мимо хлебов гонял Алешка в степь пасти заготконторских лошадей. Не треножа, пускал их по

попынистым отножинам, по ковылю, седому и вихрастому, а сам заходил в хлеб. Рослые стебли жита радушно жались, давали место, и Алешка ложился осторожненько, стараясь не толочь хлеб. Лежа на спине, растирал в ладонях колос и ел до тошноты зерно, мягкое и пахучее, налитое незатвердевшим белым молоком.

Как-то пригнал Алешка лошадей в степь. Долго бочился, захаживал вокруг норовистой и брыкучей кобыленки, хотел репы выбрать из гривы и счистить с кожи присохшую коросту. Щерила почернелые зубы кобыла, норовила куснуть или накинуть задом. Алеша изловчился-таки – цап ее за хвост, а тут сзади голос:

– Эй, Алешка!.. Будя тебе злодырничать. Наймайся ко мне в помочь?! Буду держать за харч, ну, обувку там какую справлю.

Выпустил Алешка кобылий хвост, оглянулся. Стоит неподалеку хуторской богаты Иман Алексеев, смотрит на Алешку улыбочиво.

– Пойдешь в работники, сказывай? Харч у меня, как полагается, настоященьский... Молочишко есть и все такое прочее...

Не подумал Алешка, обрадовался работе и хлебу, напрямки брякнул:

– Пойду, Иван Алексеев.

– Ну, являйся с пожитками к вечеру! – И пошел Иван Алексеев, мелькая слинявшей рубахой по кукурузе.

Голому одеться – только подпоясаться. Ни роду у Алешки, ни племени. Именья – одни каменья, а хату и подворье еще до смерти мать пораспродала соседям: хату – за девять пригоршней муки, базы – за пшено, леваду Макарчиха купила за корчажку молока. Только и добра у Алешки – зипун отцовский да материны валенки приношенные. Табун пришел с попаса, а Алешка – к Ивану Алексееву во двор. Возле стряпки расстелила хозяйка рядом, сели семейно на земле, вечеряют. В ноздри Алешке так и ширнуло духом вареной баранины. Проглотил слюну, стал около, картузишко комкая, а в мыслях: «Хучь бы посадила вечерять хозяйка...» Не тут-то было. Рвет и мечет баба, чугунами гремит.

– Ишо дармоеда привел! Он слопает больше, чем наработает. Провожай его, Алексеевич, с Богом! Не нужен по теперешним временам!

– Молчи, баба! Есть две отвертки – знай посапливай! – Это сам Иван Алексеев, бороду рукавом вытирая.

На том разговор и кончился.

Не впервой Алешке работать. В отца пошел – въедливый на работу, с семи лет погоньчем был, хвосты быкам накручивал.

Дня три пожил – освоился, на мельницу с хозяйской снохой съездил, на покосе сено копнил. Ночевать устроился под навесом сарая. В первую же ночь пришел под навес хозяин, сказал, вонюче отрыгивая луком:

– Ежели ты, сучье вымя, затеешься тут курить, голову саморучно с вязов сверну! Чтоб ни-ни!

– Я, дяденька, не занимаюсь.

– Ну, гляди!..

Ушел, а Алешке не спится. И на вторую ночь – тоже. От работы полевой гудут ноги и руки, в спине кол болячкой растопырился и сон нейдет. На третий день – спозаранку – прибежал в контору. Очкастый умывался на крыльце, кряхтя и фыркая.

– Ты где запропал, Алексей?

– В работники нанялся.

– К кому?

– К Ивану Алексееву, на краю живет.

– Ну браток, надбеги вечерком. Потолкуем насчет этого.

Вечером напоил Алешка скотину, пришел в контору. Очкастый в книгах копается.

- Ты грамоте знаешь, Алексей?

- В приходском учился. Себя расписываю.

- Пойдем со мною!

Пошли по коридору. В конце на дверях мелом написано – раскумекал Алешка: «Клуб РКСМ». Чудно и непонятно. Вошел очкастый, Алешка, робея, – следом. В комнатухе портреты, флаг красный, слинявший, и ребята кое-какие, знакомые. Книжку читают вслух, покосились на скрип двери и опять слегли над столом, слушают. Прислушался и Алешка. Читали о том, как должны нанимать хозяева работников, и еще про многое разное читали. Пришел Алешка из клуба в полночь. Долго ворочался на рваной дерюжке. До самой зари настырно заглядывал ему в глаза кособокий месяц.

* * *

Говорил Алешке Иван Алексеев:

- Ты смотри у меня, сукин сын, чтоб работа горела у тебя в руках!.. Чуть замечу, что раззяву ловишь, – в один момент сгоню со двора!.. Иди, издыхай на улице!..

Алешка и на покос, и на молотьбу, и скотину убирает, а Иван Алексеев руки за махровитый кушачок засунет, знай похаживает с ухмылочкой по двору.

Подозвал его сосед как-то в праздник:

- Здорово живешь, Иван Алексеев!

- Слава богу.

- Совесть-то всю растерял?

– Что такое?

– А то, что не дело ты строишь... Лешка у тебя ровно лошадюка ворочает... Надорвешь парнишку. Греха на душу возьмешь!..

– Смотрел бы ты, сосед, за своим добром, на чужой баз глаза нечего пучить, а в общем, убирайся под разэтакую мать!.. – Повернулся к соседу спиною, зашагал степенно и враскачку, а за угол сарая завернул – бороду зажал промеж зубов ядерных и желтых, выругался матерно и злобу глухую на соседа до поры до времени припрятал на самое донышко своего нутра.

С той поры мстил безлошадному бедняку соседу: загонял коровенку со своего жнивья, держал ее привязанной и некормленной по двое суток, а на Алешку еще больше работы навалил и за каждую пустяковину бил дурным боем.

Пожаловаться хотел Алешка очкастому, но боялся, что, узнав, прогонит его Иван Алексеев. Молчал. Ночами, короткими и душными, под навесом сарая мочил подушку горечью слез, а вечерами всегда, как только пригонял с водопоя скотину, через гумно, крадучись и припадая к плетням, бежал в клуб. Каждый день встречался с очкастым. Улыбался тот, глядя на Алешку поверх тусклых очков, и по спине похлопывал.

В воскресенье пришел Алешка в клуб засветло. В комнатухе народу густо, у всех винтовки, а у очкастого на поясе кобура с ремнем витым и блестящая штука, на бутылку похожая.

Увидел Алешку, подошел, улыбаясь:

– Банда в наш округ вступила, Алексей. Как только займут станицу – ты к нам, клуб защищать!

Хотел расспросить Алешка, как и что, но больно народу много, не посмел.

На другой день утром маслом косилочным смазывал Алешка косилку. Глянул к стряпке – из дверей хозяин идет. Захолонуло у Алешки в середке: брови у хозяина настобурченные, идет и бороду дергает. Как будто и неуправки нет ни в чем, а побаивается хозяина Алешка: больно уж лют он на расправу. Подошел тот

к косилке.

- Ты где бываешь ночью, гаденыш?

Молчит Алешка. Банка с маслом косилочным в пальцах у него подрагивает.

- Где бываешь, говорю?!

- В клубе...

- А-а-а... в клубе? А этого ты не пробовал, так твою мать?!

Кулак у хозяина весь желтой щетиной порос и тяжел, как гиря. Стукнул Алешку по затылку, а у того и ноги подвернулись, упал грудью на косилочные крылья, из глаз, словно просяная рушка, искры посыпались.

- Малость отвыкнешь шляться!.. А нет, так убирайся со двора к чертовой матери, чтоб и духом твоим не воняло тут!

Запрягая в косилку коней, гремел хозяин:

- Христа ради взял его, а он будет с сукиными сынами якшаться, а опосля придет другая власть - и будут за тебя, за гада, турсучить!.. Ну, только направься туда, я тебе вложу памятку!..

У Алешки зубы редкие и большие, и сердце у Алешки простецкое, сроду ни на кого не серчал. Бывало, говорила ему мать:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Музга? – озерко, болотце.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/mihail-sholohov/donskie-rasskazy-sud-ba-cheloveka-sbornik>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)